

© 1996 г. Р.М. ФРУМКИНА

"ТЕОРИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ" В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

1. СМЕНА ПАРАДИГМЫ КАК СТИМУЛ ДЛЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Крупные переломы в жизни науки обычно сопровождаются спорами о способах конструирования предмета данной науки, попытками пересмотра сложившихся понятий и осознанием потребности в новом метаязыке. В отечественной лингвистике эти процессы пришлось на 50-е годы. Старшее поколение работающих сейчас лингвистов принимало в них активное участие. Тогда и сложилась новая парадигма — направление, известное у нас как структурная лингвистика.

Надежным показателем устоявшейся парадигмы служит институционализация научного направления. Это проявляется, в частности, в создании учебных пособий и открытии соответствующих учебных заведений. Первый выпуск "структурных лингвистов" состоялся в 1965 году; в 1961 году вышла книга "О точных методах исследования языка" [Ахманова и др. 1961], в 1966 — книга Апресяна [Апресян 1966].

С тех пор прошло еще тридцать лет. За это время в лингвистике — в значительной мере незаметным образом — произошла практически полная смена парадигмы. Изменились способы конструирования предмета лингвистического исследования. Кардинально преобразился сам подход к выбору общих принципов и методов исследования, не говоря уже о частных моделях. Появились несколько конкурирующих метаязыков лингвистического описания.

Сам факт смены парадигмы представляется нам бесспорным и не нуждающимся в дополнительных обоснованиях или примерах. Иное дело — анализ и осмысление: что, как и когда изменилось, как называть новую парадигму, что конкретно позволяет говорить именно о смене парадигмы, а не об очередной моде и т.п. Это, однако, особая задача, которая выходит за рамки данной статьи.

Мы ограничимся далее лишь размышлениями о том, какие проблемы представляются нам особо актуальными в свете появления новой парадигмы. Ниже из соображений удобства мы (быть может, временно) назовем эту новую парадигму "когнитивной". К сожалению, термин "когнитивный" размыт и почти пуст. Мы все же воспользуемся им, но с единственной целью: противопоставить "когнитивную" парадигму собственно "структурализму" как его понимали лингвисты. (Возможно, уместнее было бы говорить об "отечественных лингвистах").

В любой науке смена парадигмы делает особо актуальной разработку общих и частных проблем эпистемологии. Для лингвистики это не менее справедливо, чем, например, для исторической науки. Однако, как нам представляется, в современной лингвистике собственная эпистемология пребывает в зачаточном состоянии. Это не кажется случайным. Можно указать, по меньшей мере, три причины такого положения вещей:

1) Эпистемология гуманитарных дисциплин вообще очень мало развита. Это, по-видимому, верно не только для России, хотя в данной статье мы будем говорить преимущественно об отечественной науке. Исключение, быть может, являет собой

цикл исторических наук, точнее подход, реализованный по преимуществу французской исторической школой "Анналов" (ср. [Блок 1973; Ле Гофф 1992]), а у нас — школой А.Я. Гуревича (см., например [Гуревич 1988; 1990; 1993]).

2) В силу специфики своего объекта современная лингвистика — в отличие, например, от лингвистики конца прошлого века, — имеет много п р е д м е т о в. Так, предмет типологических штудий и предмет, которым занят исследователь проблем представления знаний на естественном языке, имеют между собой мало общего. Предмет, который конструирует для себя исследователь лингвистики текста, практически не пересекается с тем, который сконструирован морфологом. Очевидно, что различие в предметах предполагает и различие в методах. Но сколь оно глубоко?

3) Мы относим лингвистику к "наукам о человеке". По умолчанию предполагается, что здесь имеется в виду иной аспект "человека", чем если бы мы, например, говорили о медицине или антропологии. В то же время всех лингвистов объединяет понимание лингвистики как науки о знаковых системах, т.е. части общей семиотики. Тогда как соотносятся характерные для разных "наук о человеке" методы — правдоподобные рассуждения, эксперимент, наблюдение?

Итак, сосуществуют достаточно разные представления о предметах лингвистики, ее целях и методах. Возможно разное понимание и пафоса лингвистики — т.е. ее ценностных ориентаций. Именно все это и составляет для каждой отдельной науки ее собственную эпистемологию — то, что известный американский социолог Р. Мертон (R. Merton) свое время назвал "теорией среднего уровня" (theory of middle range) [Merton 1968].

2. РОЛЬ "ТЕОРИЙ СРЕДНЕГО УРОВНЯ" В ЭПОХИ ПЕРЕЛОМА

Под "теорией" среднего уровня" Мертон понимал по преимуществу ч а с т н у ю эпистемологию отдельной науки — будь то история, социология или культурная антропология.

В отличие от общей эпистемологии, частная эпистемология не занимается общепhilosophическими вопросами о природе познания, о верифицируемости или фальсифицируемости теорий, о том, какое место в познании занимают априорные категории и какое — чувственный опыт. Ее задачи более скромны. А именно, для некоторой конкретной науки частная эпистемология решает вопросы следующего типа:

- 1) Как выделить (сконструировать) объекты, которыми данная наука оперирует;
- 2) Какие методы познания выделенных таким образом объектов считаются допустимыми, а какие — нет;
- 3) Какие методы проверки правильности результатов и, соответственно, убеждения читателя в своей правоте ученый вправе использовать, а какие относятся к запрещенным приемам;
- 4) Как систематизировать основные понятия данной науки, чтобы обеспечить возможность взаимопонимания в пределах данной научной парадигмы;
- 5) Какие задачи в пределах данной науки следует считать действительно задачами, подлежащими решению;
- 6) Как транслировать результаты в научный социум.

(Этот перечень лишь приблизительно обрисовывает круг проблем.)

Разумеется, теории среднего уровня опираются на определенные общепhilosophические принципы. Важно, однако, что разрабатываются они именно для данной отрасли знания и учитывают ее специфику.

Вот что пишет об этом А.Я. Гуревич применительно к исторической науке: "...существует широкое поле собственной, специальной методологии истории; в него входят отнюдь не одни только самые общие теоретические предпосылки и постулаты, но и более непосредственно затрагивающие ремесло историка системы понятий и методов исследования" [Гуревич 1993: 144].

Неразработанность теорий среднего уровня в лингвистике до поры до времени не ощущалась как некий минус, что до известной степени естественно. Чтобы

почувствовать потребность в постановке и решении эпистемологических проблем, надо усомниться в очевидностях. Чтобы очевидности перестали быть таковыми, надо систематически размышлять о предмете своей науки, т.е. заниматься методологической рефлексией.

Методологическая рефлексия особенно важна в переломные периоды. Собственно, без подробной рефлексии смысл происходящих перемен не может быть осознан. Однако в гуманитарных науках и в лингвистике в том числе редкие авторы, независимо от весомости их научного вклада, берут на себя труд сформулировать общеметодологические основы своих построений. Речь идет не о том, что во многих частных случаях надо четко сформулировать исходную "аксиоматику" и указать необходимые следствия из нее. Скорее следовало бы говорить о том, что многие области лингвистики нуждаются в доопределении или переопределении своего предмета, ибо вообще неясно, какие построения в них следует уподобить (именно уподобить!) "аксиоматике".

З а м е ч а н и е. Хорошим примером того, к чему приводит отсутствие всякой "аксиоматики", могла бы послужить психолингвистика. Много лет лингвисты открыто отказывались от попыток описывать язык как психический феномен. Психолингвистика, которая по определению и была замыслена как возмещающая этот недостаток, серьезными лингвистами (разумеется, убежденными структуралистами!) не считалась достойной частью лингвистики. (В США психолингвисты всегда были прежде всего психологами, интересовавшимися языком, поэтому вся ситуация там несколько иная.)

У нас психолингвистов терпели и слегка презирали, в силу чего психолингвистика и сейчас в основном остается слабоструктурированной и довольно хаотичной областью, находящейся в каком-то "промежутке". Это по преимуществу смесь: либо из доброкачественной психологии и посредственной лингвистики (в США), либо из посредственной психологии и доброкачественной лингвистики (в России). Добавим к этому не всегда грамотные, а часто и просто невежественные штудии, где к невятной психологии и невятной лингвистике приложена еще более невятная культурология или социология. Это позволяло, — кстати, и до сих пор позволяет — пренебрегать уже известными закономерностями всех упомянутых наук.

Вообще говоря, исследовательская работа сама по себе с неизбежностью должна провоцировать исследователя на систематическую рефлексию о сути используемых им понятий и методов. Конечно, это зависит и от склонности к метанаучным размышлениям, и от самодисциплины исследователя. Но по крайней мере, ученый должен твердо знать, какой из возможных для его предмета теорий среднего уровня он придерживается, и уметь эксплицировать свой выбор.

Понятно, почему глубокая методологическая рефлексия и споры о "теориях среднего уровня" не типичны для нормализованной науки: в ней метанаучная проблематика перестает быть актуальной. Со временем "новая" лингвистика постепенно и закономерно тоже превратилась в нормализованную науку. (Я бы отнесла этот процесс к началу 80-х гг., но, по-видимому, в разных областях лингвистики это происходило в разное время.)

Подчеркнем, что важно не то, является ли наука нормализованной в каком-либо объективном понимании. Принципиально лишь, что таковой ее ощущают работающие в ней исследователи, для чего вовсе не требуется размышлять именно в терминах Куна. Достаточно в повседневной работе не чувствовать глубинную противоречивость умозаключений, не замечать неопределенности понятий и не ощущать потребности во внесении ясности.

3. ПРИЗНАКИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

За последние пятьдесят лет в лингвистике было много споров о методах. Однако по преимуществу это были споры о к о н к р е т н ы х методах. Они не интерпретировались как соотносенные с эпистемологической проблематикой. Приведу пример из семантики. Когда А. Вежбицка впервые предложила толкования значений слов с помощью разработанного ею "метаязыка примитивов" [Wierzbicka 1972], то эти толкования вызвали много возражений. Их критиковали либо за неточность, либо за

неполноту, либо напротив, за чрезмерную пространность, несоответствие нуждам лексикографии и т.п. А вот вопрос о том, насколько законен сам метод интроспекции, с помощью которого эти толкования были получены, почему-то не обсуждался.

Это притом, что А. Вежбицка, с ее вкусом к максимально эксплицитному изложению методологии, очень рано заявила, что разработанный ею *lingua mentalis* — именно плод дисциплинированной интроспекции [Wierzbicka 1972; 1985]. Очевидно, что это заявление не было воспринято как выдвижение совершенно новой точки отсчета.

Примерно в те же годы проблемой метаязыка лингвистики, был пристально занят другой крупный ученый, И.А. Мельчук. Автор данного текста свидетельствует, что уважение к А. Вежбицке вполне совмещалось у И.А. Мельчука с оценкой интроспекции как чего-то вненаучного. Что касается метода, которым он сам приходил к тем или иным метаязыковым единицам, то этот метод никогда явно не эксплицировался [Мельчук 1974]. В результате начинающие лингвисты до сих пор спрашивают о том, как можно объективно получить такие же толкования значений, как те, что представлены в уникальном именно по уровню языкового чутья "Толково-комбинаторном словаре" [Мельчук, Жолковский 1984]. Более того, многие интересуются, где же описаны соответствующие формальные процедуры!

Когда интересы лингвистов, притом таких влиятельных, как А. Вежбицка, стали фокусироваться на том, что Бенвенист называл "человек в языке", возникла необходимость задуматься о другой трактовке смысла как такового. Разумеется, смысл и сейчас можно трактовать как абстрактную сущность, формальное представление которой не связано ни с автором высказывания, ни с его адресатом. Просто такой подход перестал быть для лингвистов ценным занятием и отошел на задний план. Интерпретация семантических явлений стала ориентироваться на смысл, который существует в человеке и для человека, на интер- и интрапсихические процессы, на означивание и коммуникацию.

Как известно, еще Гумбольдт понимал язык как "мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека" [Гумбольдт 1984: 4]. Автор этих строк не припоминает явных опровержений такого подхода. Казалось бы, принимая эту максиму Гумбольдта, нельзя изучать смыслы вне того, без чего они лишаются модуса существования — без внутренних миров их носителей. Иными словами, смыслы нельзя исследовать в отвлечении от говорения и понимания как процессов взаимодействия психических субъектов.

Вспомним, однако, что магистральный путь лингвистики XX века — включая лингвистическую семантику — изначально вовсе не предполагал подобного подхода. Почему? Прежде всего потому, что ценностные ориентации ученых были совершенно иными. Одно дело — соглашаться с Гумбольдтом и Бенвенистом. И совершенно иное дело — считать, что именно эти вопросы являются самыми важными, ценными, теми, которым стоит посвящать жизнь.

XX век в лингвистике, да и в других гуманитарных науках прежде всего ценил "строгость". В соответствии с такими установками отношение "внутренний мир человека — язык" закономерно оставалось за пределами того, что полагалось доступным для подлинно научного подхода.

С одной стороны, "строгость" так или иначе противопоставлялась "философствованиям" и рассуждениям герменевтиков. С другой — "строгость" противопоставлялась "психологизму", который понимался преимущественно как расплывчатые умозрения. Логично поэтому, что серьезные лингвисты игнорировали психолингвистические исследования. Другое дело, что стоило задуматься, было ли в некоторых из них нечто содержательное или их поголовно можно было считать "философствованиями" [Фрумкина 1978; 1989; 1990a].

Мы не хотим этим сказать, что в семантике вообще исчезла традиция, где ценным считалось эмпирическое изучение смысла как психического феномена (ср. [Степанов

1975]). И все же "антропоцентризм" Бенвениста и "антропологический подход", представленный линией Боас — Сепир — Уорф, достаточно долго ждали своего воплощения на эмпирическом материале.

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫБОР АДЕКВАТНОГО ЕМУ МЕТОДА

По нашим наблюдениям, А. Вежбицка — это первый современный автор, не только заявивший о принципиально иной позиции, нежели общепринятый структурный подход, но и реализовавший на обширном материале идеи Гумбольдта и Бенвениста. Именно она последовательно сопровождала свои сочинения методологическими разработками, в которых дан образец "теории среднего уровня" для семантики. (Резюмирующими публикациями можно считать [Wierzbicka 1985; 1988; 1992], см. также подробный анализ подхода Вежбицкой в [Три мнения ...1989; Фрумкина 1990; Семантика и категоризация 1991; Фрумкина 1994].)

Рассмотрим, как Вежбицка конструирует свой предмет исследования и выбирает адекватный ему метод.

Смысл языковой единицы (к о н ц е п т) Вежбицка определяет как объект из мира "Идеальное", имеющий имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представления человека о мире "Действительность". Сама же действительность, по мнению Вежбицкой, дана нам в мышлении (но не восприятии!) именно через язык, а не непосредственно. Близость подхода Вежбицкой к идеям Гумбольдта достаточно хорошо просматривается.

Но если к о н ц е п т — объект идеальный, т.е. существующий в нашей психике, то следует задуматься о том, как соотносятся между собой ментальные образования, соответствующие о д н о м у к о н ц е п т у, в психике р а з н ы х людей. Естественно думать, что за одним и тем же именем (словом) в психике разных лиц могут стоять разные ментальные образования. Тем самым, не только разные языки "концептуализируют" (т.е. преломляют) действительность по-разному, но за одним и тем же словом одного языка в умах разных людей могут стоять разные концепты.

Подчеркнем, что Вежбицка имеет в виду не различные в интерпретации концептов типа "талант" или "свобода". Напротив, она акцентирует различие в концептах, стоящих за "простыми" словами, типа *чашка*, *картофель*.

Итак, перед лингвистом, которого, быть может, следовало бы считать также и психолингвистом, оказались новые объекты — к о н ц е п т ы "в смысле Вежбицкой". В таком случае, их исследование требует и адекватного самим объектам м е т о д а.

В самом деле. Концепты суть ментальные сущности. Нам же непосредственно дано только содержание нашей собственной психики. Не значит ли это, что экспликация процесса концептуализации и содержания концепта может быть доступна только в той мере, в какой лингвист сам является носителем данного языка? Несколько упрощая, можно сказать, что Вежбицка на практике отчасти реализует именно такую позицию.

Дальнейшая разработка "теории среднего уровня" состоит в выборе адекватного метода. Вежбицка считает единственным надежным методом, позволяющим заниматься анализом смысла (в ее терминах семантическим или концептуальным анализом) метод т р е н и р о в а н н о й и н т р о с п е к ц и и [Три мнения ...1989; Семантика и категоризация 1991; Фрумкина 1992; 1994].

Итак, в наших терминах можно сказать, что согласно своей теории среднего уровня (мы ограничиваемся здесь проблемами семантики) Вежбицка к о н с т р у и р у е т новые объекты анализа — к о н ц е п т ы и новый метод, адекватный задачам изучения этих объектов.

Приведем другой пример — на этот раз применительно к исторической науке. В упомянутой выше книге [Гуревич 1993] автор обосновывает необходимость к о н с т р у и р о в а н и я нового объекта исторической науки — это ментальность, в данном случае — ментальность средневекового человека. Но может ли такая

расплывчатая "вещь", как ментальность, быть объектом научного познания — именно научного, а не художественного? В особенности — ментальность "простецов", неграмотных людей средневековья, т.е. людей, которые не могли оставить о себе прямых свидетельств.

А.Я. Гуревич по этому поводу пишет: "...ментальность, способ видения мира, отнюдь не идентична идеологии, имеющей дело с продуманными системами мысли, и во многом, может быть, главным, остается непрорефлектированной и логически не выявленной. Ментальность — не философские, научные или эстетические системы, а тот уровень общественного сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций, от латентных привычек и приемов сознания" [Гуревич 1993: 59].

Если даже сказанное могло бы служить определением ментальности, этого было бы мало. Надо еще ввести категорию ментальности в с и с т е м у понятий исторической науки. Это в свое время удалось сделать французской Исторической Школе "Анналов" в рамках так называемого исторического синтеза. Идея исторического синтеза потребовала пересмотра многих центральных понятий исторической науки — таких, как категория времени, социальная структура, общественное устройство. Так была построена "теория среднего уровня" для истории. И только тогда понятие ментальности получило ясную интерпретацию и заняло место в системе именно в качестве научного понятия, т.е. было сконструировано в качестве объекта исследования.

Если мы согласны с такой эпистемологией, с такой теорией среднего уровня, мы должны тем самым признать, что объект изучения, который исследователю — занят ли он историческими процессами или языком — никогда не предъявлен непосредственно. Мы всегда работаем с конструктом — в том числе, и когда наблюдаем эмпирические факты. Еще раз напомним высказывание Эйнштейна: именно теория решает, что мы будем наблюдать.

4. ПОЧЕМУ МЫ ИЗУЧАЕМ ТО, ЧТО ИЗУЧАЕМ?

Одна из причин отказа от внутринаучной рефлексии является, видимо, общей для парадигматически оформленных наук. Я имею в виду характерную для нормализованной науки закрытость списка разрешенных к постановке проблем. Соответственно и все известные методы становятся непререкаемыми, откуда возникает их ригидность.

В общем, это и значит, что парадигма оформилась. Жизнь в науке, тем не менее, продолжается, а следовательно, готовая парадигма так или иначе в какой-то момент начнет расшатываться. Вопрос о том, в каких конкретных формах это произойдет.

Один из показателей расшатывания парадигмы — расширение списка "разрешенных к постановке" проблем. В лингвистике последний сильно расширился за счет влияния разных наук — смежных и ставших таковыми лишь недавно. Так, сугубо философская проблематика, восходящая к расселовской теории дескрипций и продолженная уже в рамках критики этой теории, дала в лингвистике мощную поросль — например, в сфере теории референции.

Вместе с тем, это расширение — в том числе и обусловленное влиянием философии, не во всем оказывается плодотворным. Это проявляется в неосмысленном заимствовании понятийного аппарата, предназначенного для иных целей. Примером тому может служить интерпретация понятия и г р ы, введенного применительно к языку Витгенштейном. Обращение к текстам самого философа и к текстам о нем позволяет сделать следующее заключение:

Игра, согласно Витгенштейну, — это:

(1) взаимодействие, иначе говоря — деятельность, предполагающая обратную связь со стороны по меньшей мере еще одного свободного агента; (2) взаимодействие регулируется правилами, которые изначально заданы и предполагаются известными всем участникам в равной мере; (3) правила взаимодействия условны, т.е. вопрос о том, почему они именно такие, а не иные — иррелевантен.

Пункты (2) и (3), на наш взгляд, мало что добавляют к соссюровской аналогии между языком и шахматами. Пункт (1) также вытекает из Соссюра, поскольку знак всегда коммуникативен. Впрочем, о том, что важнейшая функция языка — коммуникативная, писали еще античные философы. Мы безуспешно пытались найти у Витгенштейна какое-либо внятное объяснение того, с какой целью для рассуждений об онтологии языка ему понадобилось именно понятие *языковых игр*. Почему взаимодействие каменщика и подмастерья продуктивно называть "языковой игрой"? И почему вообще продуктивно называть играми весьма разные виды человеческой деятельности, включая конкретные научные исследования (ср. [Сокулер 1988])?

В науке не действует максима "разрешено все, что не запрещено". Но в той мере, в которой эпистемология лингвистики — прежде всего в виде "теорий среднего уровня" — остается не проясненной, эта максима функционирует, так сказать, подпольно, и в ряде случаев — с весьма разрушительными последствиями.

5. ЕЩЕ РАЗ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ В БИСЕР

Известно выражение, что наука начинается с веры в проблему. Конечно, это не та вера, которую имел в виду Тертуллиан в изречении "верю, ибо абсурдно". В интересующем нас контексте вера — это неартикулированное знание ученого, вбирающее опыт его работы здесь и сейчас, в данном историческом промежутке. Опыт этот социален — он отражает взаимодействие ученого с научной и общественной средой. Именно это неартикулированное знание дает уверенность в том, что тот или иной вопрос заслуживает внимания именно как научная проблема.

Умение найти проблему — своего рода искусство. Многие выдающиеся ученые прославились именно умением в должное время поставить кардинальные для своей области проблемы. Например, вопрос о семантическом метаязыке, сформулированный еще в 1961 г. (см. [Жолковский 1964]) как относительно частная задача, определил магистральный путь семантики на длительное время.

Подоплека веры в проблему — в силу чего и приходится говорить именно о *вере* — не может быть выражена в логически проясненных высказываниях. Это принадлежность внутреннего мира ученого, часть "неявного" (*tacit*) личностного знания.

Чтобы перевести неявное знание в артикулированное, ученый располагает определенным инструментарием, т.е. методом. Инструментарий этот различается в зависимости от области науки. Во многом он зависит от научного стиля отдельного исследователя. Но в пределах каждой области значения всегда существует некоторый канон, общепринятый способ *перехода* от "предзнания" к артикулированной постановке проблемы. В математике — это доказательство, в физике — определенный тип эксперимента; в психологии — также эксперимент, хотя несколько иной структуры; в истории — достоверные свидетельства. Все эти случаи объединяет метод классической (картезианской) рациональности.

Применение метода классической рациональности предполагает по меньшей мере три момента:

1) Субъект познания рассматривает метод, т.е. некую сумму предписаний, как инструмент, позволяющий правильно двигаться к цели.

2) Метод осознается как таковой в достаточной степени, чтобы ему можно было дать словесную формулировку. Иными словами, метод можно записать в виде инструкции типа: вначале следует сделать то-то, далее перейти к тому-то, проверить условие и т.п.

3) Познающий субъект обязан уметь объяснить свой путь другим. Иными словами, не только результат, но и пути его получения должны быть открыты научному сообществу для сомнений и проверки.

По-видимому, "теория среднего уровня" должна согласовываться с методом картезианской рациональности, если она претендует на то, чтобы быть именно теорией, т.е. выполнять функции частной эпистемологии для данной науки. Это не

означает, что в науке не могут плодотворно функционировать другие научные стили, не вполне согласующиеся с принципом картезианской рациональности. Очень важно, однако, а в особенности — для начинающих ученых, прояснить сущность этих стилей и порождаемых ими текстов.

В частности, необходимо всякий раз отдавать себе отчет в том, каков статус предлагаемых построений (мы не имеем в виду тексты псевдонаучные или дилетантские). Два вида таких построений кажутся нам заслуживающими внимания в связи с нашей темой. Это сократический диалог и научное эссе.

Великим Мастером сократического диалога в наше время был Мераб Мамардашвили. Процесс его философской работы с учениками строился именно по правилам сократического диалога, вопрошания. Отсюда — магнетическая убедительность его лекций при невозможности воспроизвести в печати что-либо близкое к неотразимой силе этой убедительности. Мастер действительно был выдающимся мыслителем нашего времени, и это проявилось среди прочего в том, что он сам сформулировал ограничивающий, сковывающий характер картезианской рациональности для присущего лично ему научного стиля [Мамардашвили 1990; 1993].

Другим мастером сократического диалога был В.Н. Сидоров, один из основателей Московской фонологической школы. Это особенно интересно отметить потому, что одновременно он оставил работы, ярко воплощающие сугубо картезианский метод. Опубликованные им труды по исторической фонетике русского языка и по русской морфологии демонстрируют абсолютную ясность и строгость построений. В них воплощена та теория среднего уровня, которая, собственно, и конституирует Московскую фонологическую школу именно как направление в лингвистике.

С другой стороны, стремление к абсолютному как раз и привело к тому, что огромная часть сделанного В.Н. Сидоровым не дошла до научного сообщества, оставшись в черновых набросках или в воспоминаниях тех, кому он дарил свои догадки и идеи. Это касается, среди прочего, глубоких идей в области семантики и лексикографии, которые возникали в процессе работы над Словарем языка А.С. Пушкина [Сл. яз. Пушкина 1956—1961].

Не до конца проясненное для В.Н. Сидорова не могло быть предметом публикации, но постоянно было предметом сократического диалога. Автор этих строк имел счастье участвовать в подобных беседах в роли классического ученика-невежды, по существу именно таким образом получив свое университетское образование.

Эссе можно рассматривать как жанр, противоположный сократическому диалогу. В частности, потому, что адресуясь к уму — а быть может, в еще большей мере — к вкусу читателя, автор эссе как раз не стремится вступить с читателем в диалог. И уж тем более — в диалог "на равных". Естественно, что из эссе не удастся "отфильтровать" собственно метод. Это логично: ведь в эссе средства убеждения всегда вытекают из стиля мышления автора, который по законам жанра может опускать целые звенья рассуждений и не утруждать себя обоснованием своей правоты.

Приведем два, казалось бы, совершенно разнородных примера построения научного текста, эссеистического *par excellence*. Первый пример — это научный стиль О.М. Фрейденберг. Работы Фрейденберг по теории античного искусства и семантике вошли в современный научный обиход благодаря тому, что в 1978 г., тщанием Н.В. Брагинской — выступившей в роли публикатора и комментатора — увидела свет ее книга [Фрейденберг 1978].

Вот что пишет о научном стиле О.М. Фрейденберг Н.В. Брагинская: «По сути дела, в работах Фрейденберг нет разворачивания мысли, нет дискурсивности, но нет и описательства. У ее работ есть центр — центральная в прямом смысле этого слова мысль. ...Для работ О.М. Фрейденберг нужна какая-то другая пространственная организация текста, при которой эта "центральная мысль" так бы и помещалась в центре, подобно источнику света, а материал, который она "освещает", располагался "кругом"... И если центральный образ мифа невидим, но живет в разнovidных формах метафор, и его можно вытащить на свет лишь искусственно, и он существует, когда

его нет, но появляясь, теряет свою сущность, то такую же неформулируемость можно видеть и в работах О.М. Фрейденберг, хотя к концу жизни она и освоилась с "неудобной" последовательностью изложения». Далее комментатор следующим образом характеризует отношение О.М. Фрейденберг к своим концепциям: "Здесь нет ни следа пропедевтического скептицизма, ни намек на гипотетичность, неполную доказанность или полную недоказуемость тех или иных положений" [Фрейденберг 1978: 573—574].

З а м е ч а н и е. Процитированные замечания Н.В. Брагинской остаются актуальными для восприятия и других текстов нашей гуманитарной науки, где по понятным причинам существует опасная склонность к авторитаризму. В лингвистических сочинениях фраза "как сказал N (утверждал, упомянул, полагал, заметил)" нередко приравнивается к "как доказал N". Если N, т.е. субъект высказывания, на данный период является своего рода "культовой фигурой" (каковой на некоторое время стала и О.М. Фрейденберг), то авторские высказывания меняют модус и приравниваются чуть ли не к сакральным текстам. Но цитата не может претендовать на аргумент в споре. Она лишь найденный кем-то до меня способ формулировки, — возможно, самый удачный из возможных. Но от этого цитата не превращается в аргумент.

Другой поучительный пример содержательной эссеистики — это нашумевшая на Западе книга Т. Винограда и Ф. Флореса [Winograd, Flores 1987]. Пафос этой книги — в откровенной антипозитивистской и антисциентистской направленности. Это само по себе достаточно парадоксально, если учесть, что один из авторов — этот тот самый Терри Виноград, который первым создал компьютерную систему, понимающую естественный язык и взаимодействующую с человеком в режиме диалога.

Некий автор в рецензии на эту книгу написал, что она похожа на крик отчаяния. Действительно, по своей тональности эта работа типична для тех, что появляются на сломе научной парадигмы. Мотив разочарования и тревоги ясно слышен, несмотря на все различия культурного контекста, в котором воспринималась книга на Западе и может быть понята у нас.

По существу, авторы отвергают компьютерно-структурную парадигму и утверждают когнитивную. Разумеется, в рамках эссеистического изложения нельзя построить ничего, напоминающего теорию среднего уровня. Стоит, однако, попытаться понять, почему авторы отвергают многие общепринятые эпистемы (в смысле Фуко).

В этой связи для нас особый интерес представляют размышления, которые мы назвали бы "размышлениями по поводу вредоносности компьютерных метафор". В соответствии с общим эссеистическим стилем изложения эта тема реализуется в книге скорее как музыкальная, чем в виде научной конструкции. Для авторов она несомненно является центральной, и потому для понимания механизмов становления новой, когнитивной парадигмы полезно разобраться в истоках авторского "настроя" (см. рецензию [Фрумкина 1990а]).

Мы продолжим эти размышления в следующем разделе статьи, помятуя сказанное выше об особенностях эссе как научного стиля.

6. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ И МЫСЛЕННЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Как известно, под влиянием иллюзий о всемогуществе computer sciences, в качестве метаязыка для описания познавательных процессов был выбран и продолжает использоваться язык компьютерных аналогий. Результат этого — онтологизация компьютерной метафоры и механические представления о познавательных процессах.

Это приводит к далеко идущим последствиям, из которых для данного обсуждения важно следующее. "Компьютерная метафора" может быть полезным инструментом только в той мере, в которой ее сугубая метафоричность остается предметом эпистемологической рефлексии. Иными словами, в соответствующей теории среднего уровня должны быть четко "прописаны" границы ее применимости. Впрочем, любая

модель эффективна как инструмент познания именно в меру понимания ее отличия от оригинала. Почему это положение, очевидное до тривиальности, опять стало актуальным в эпоху становления когнитивной парадигмы? Видимо, потому, что компьютерные модели овеществлены в виде реально работающих и весьма эффективных объектов: вычислительных машин и сетей. Более того, все больше рутинных интеллектуальных операций в современных компьютерах реализованы аппаратно, т.е. все больше операций "запаяно в железо". Это скрывает от нас механизмы функционирования компьютера и способствует ощущению чуда и всемогущества машины.

Именно поэтому Виноград и Флорес идут еще дальше и акцентируют следующие тезисы (мы их переформулировали в более строгом виде):

1) Работа нашего интеллекта не базируется на операциях с мысленными моделями — отоображениями объектов (mental representations);

2) Это объясняется тем, то наше сознание и язык не отображают внешний мир, а интерпретируют его, исходя из наших текущих потребностей;

3) Подлинное понимание (в общепhilosophическом смысле слова) требует от нас выхода за пределы языкового контекста в контекст жизненный, т.е. требует обращения к процессам социального взаимодействия.

Попытаемся понять, что стоит за этим пафосом отрицания. Согласно современному узусу, репрезентации — это некая реальность нашего ума, в отличие от объектного мира, который по отношению к репрезентациям первичен. С этим авторы не согласны. В подтверждение обоснованности своей позиции они приводят поведение новорожденного, который, не имея расчлененного представления о структуре среды, тем не менее вполне адекватно реагирует на все, что связано с его жизнеобеспечением, и делает это на уровне, не сводимом к чистым инстинктам.

Таким образом, авторы исповедуют точку зрения, которая с известной натяжкой может быть возведена к поздней феноменологии. Согласно этой позиции, объект и его свойства как бы не существуют вне наших целей и намерений. Мы вычленим "объекты для себя" по мере надобности; вне этой "надобности" объекты не существуют для нас, поскольку они не выделяются нами из фона.

Этот тезис в определенном аспекте не вызывает возражений. Разве мы думаем о том, что одежда имеет швы, т.е. состоит из кусков ткани, скрепленной в определенных местах нитками? Разумеется нет, но лишь до того момента, пока одежда не порвалась "по шву" или нечто необходимо распороть, т.е. разъединить именно по швам. Следуя логике авторов, можно сказать, что швы для непрофессионала "не существуют", поскольку важно не то, существуют ли они ф и з и ч е с к и, а то, что они возникают "для нас" только в нестандартных ситуациях. Эти ситуации авторы называют *breakdown*, что можно перевести как 'срыв'.

Важность проблемы "срыва" как определяющей существование или несуществование объектов и их свойств становится более ясной, если задуматься о научном опыте Т. Винограда — создателя системы, "понимающей" естественный язык. Дело в том, что компьютер в принципе не может справиться с классом ситуаций, обозначенных в обсуждаемой книге как "срыв", в силу их нестандартности. Человек же, даже не имевший в своем конкретном опыте нестандартной ситуации, обобщает свой прошлый опыт и создает сценарий новой ситуации в режиме "on line" на основе обратной связи. В свете этого ясно, почему для авторов так важны тезисы, перечисленные выше под пп. 1—3.

Очевидно, что даже чисто метафорически компьютерная аналогия эффективна только в весьма узких пределах. Тем не менее локальная исследовательская практика продолжает (иногда неявно) базироваться именно на этих неоправданных аналогиях. Например, в той мере, в которой программа компьютера — это система формально-логических операций, компьютерные метафоры подкрепляют представления о том, что и человек решает те или иные сложные задачи следуя законам формальной логики.

Разумеется, после того, как компьютер выиграл партию в шахматы у чемпиона мира, возрастает уверенность в том, что компьютерная программа может успешно моделировать очень сложные виды человеческой деятельности. При этом странным образом не рефлектируются ни источники могущества компьютера, ни источники ограничений.

Заметим, что еще у Пиаже, т.е. до и вне связи с компьютерными технологиями, мы находим описания когнитивных процессов, сформулированные в терминах, заимствованных из формальной логики. В частности, не вполне ясно, понимал ли Пиаже, что слово *операция* в его построениях должно было бы быть интерпретировано сугубо метафорически. Даже удивительно, что многие влиятельные авторы как бы забывают, что формальная логика имеет прескриптивный, а не дескриптивный характер, а поэтому поведение человека едва ли может быть описано в ее терминах [Frumkina, Mikhejev 1994].

7. ЛИНГВИСТ КАК ПОЗНАЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ

Нам неоднократно приходилось наблюдать, а также писать о том, что, в отличие от жестко запрограммированного компьютера, человек может решать с х о д н ы е задачи р а з н ы м и с п о с о б а м и. Этот момент является принципиальным для эпистемологии лингвистики и комплекса наук о когнитивных процессах, однако он остается недостаточно осознанным. Приведем один любопытный пример. В 1956 г. вышла знаменитая работа Дж. Миллера о "магическом" числе семь плюс минус два [Miller 1956], где автор излагал свои наблюдения над возможностями оперативной памяти человека. Миллер экспериментально установил, что человек может "поместить" в оперативную память не более, чем 7 плюс—минус 2 б л о к а информации. Однако если человек сможет произвести операцию переструктурирования, склейки (chunking), т.е. увеличить "емкость" каждого отдельного блока, то хотя число б л о к о в остается тем же, но общий объем информации значительно увеличится.

В течение многих лет автор данной статьи пытался — и безуспешно — найти в трудах американских психологов, включая и самого Дж. Миллера, описание закономерностей с h u n k i n g. Изучение возможностей "склейки", т.е. многообразия способов структурирования, представляется нам и сейчас намного более важной проблемой, нежели чисто количественное определение ограничений на оперативную память. В свете современных данных можно предположить, что законы склейки не описаны потому, что столь же многообразны, сколь вообще неисчерпаема способность человека к структурированию. А раз так, то всякая концепция, построенная по схеме "или—или" окажется худосочной и неоправданной.

Известно, например, что человек склонен к операциям с гештальтами и вообще к укрупнению блоков информации, с которыми он работает [Фрумкина 1993]. Но это отнюдь не противоречит тому, что в случае необходимости человек пользуется признаковым описанием и может работать со сколь угодно элементарными единицами.

Все это относится и к операциям с единицами языка и речи и имеет, с нашей точки зрения, непосредственное отношение к теориям среднего уровня в лингвистике. В аспекте эпистемологии именно в силу многообразия способов использования языковых единиц как в процессе восприятия речи, так и в процессе порождения высказывания, актуален выбор одной из двух позиций:

1. Мы стремимся описывать онтологию языка, т.е. стремимся представить язык таким, каков он есть "на самом деле", вне зависимости от субъекта, который язык описывает;

2. Мы ориентируемся на качество самого описания, желая сделать его максимально прозрачным и убедительным.

Конечно, в принципе любой лингвист хотел бы совместить (1) и (2) — описать то, что "есть" и сделать это "красиво". Надо помнить, однако же, что это разные критерии.

Так, "антропоцентрический" поход, реализованный А. Вежбицкой в упоминавшихся выше работах, как нам представляется, скрывает за собой именно оптимизацию критерия (2). "Всюду-прозрачность" естественного языка (термин, введенный нами в [Фрумкина 1990]) — т.е. выводимость всех наблюдаемых языковых данных из того, что язык создан "по мерке" человека — это *credo* Вежбицкой, поэтому диалог в данном случае невозможен.

Напомним в связи со сказанным некоторые тривиальные примеры. Почему существуют отличия в грамматическом числе при отсутствии такового в семантическом числе — мы имеем в виду не только противопоставления *сливки*, но *сметана*; *часы*, но *будильник*; *дрожжи*, но *корица*; но также и обязательное употребление мн. числа в контекстах "Любите ли Вы огурцы?" для некоторой ничем не выделенной семантической группы слов? Следуя логике Вежбицкой, о *часах* следует подумать, имея в виду наличие по крайней мере двух стрелок (что тем более сомнительно, что у будильника их непременно три). Прочие случаи через особенность восприятия человеком соответствующих объектов объяснить уже не удастся.

Вежбицка, тем не менее, уверена в том, что языковые формы в принципе детерминированы их содержанием, и следовательно, должны быть описаны именно с этих позиций. И странно было бы их оспаривать: это фундамент ее "теории среднего уровня". Но в этом качестве постулат "всюду-прозрачности" должен быть специально осознан именно как постулат — если не автором, то читателями.

Тем самым приходится еще раз напомнить о правомерности для наук о человеке более общего эпистемологического постулата: объект в науках о человеке может зависеть от теории об этом объекте, имеющейся у исследователя [Лефевр 1973]. Лингвистика только выиграет, если мы будем об этом помнить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1966 — Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
Ахманова О.С. и др. 1961 — О точных методах исследования языка. М., 1961.
Блок М. 1973 — Апология истории, или ремесло историка. М., 1973.
Гумбольдт В. 1984 — Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
Гуревич А.Я. 1988 — Историческая наука и историческая антропология // ВФ. 1988. № 1.
Гуревич А.Я. 1990 — Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
Гуревич А.Я. 1993 — Исторический синтез и Школа "Анналов". М., 1993.
Жолковский А.К. 1964 — Предисловие // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1964. № 8.
Ле Гофф Ш. 1992 — Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
Лефевр В.А. 1973 — Конфликтующие структуры. М., 1973.
Мамардашвили М.К. 1990 — Как я понимаю философию. М., 1990.
Мамардашвили М.К. 1993 — Картезианские размышления. М., 1993.
Мельчук И.А. 1974 — Опыт теории лингвистических моделей "Смысл — Текст". М., 1974.
Мельчук И.А., Жолковский А.К. 1984 — Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.
Семантика и категоризация. 1991 — Семантика и категоризация. М., 1991.
Сл. яз. Пушкина. Т. I—IV. М., 1956—1961 — Словарь языка А.С. Пушкина. М., 1956—1961.
Сокулер З.А. 1988 — Проблемы обоснования знания. М., 1988.
Степанов Ю.С. 1975 — Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
Три мнения... 1989 — Три мнения об одной книге // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.
Фрейдберг О.М. 1978 — Миф и литература древности. М., 1978.
Фрумкина Р.М. 1978 — Соотношение точных методов и гуманитарного подхода: лингвистика, психология, психолингвистика // ИАН ОЛЯ. 1978. № 4.
Фрумкина Р.М. 1989 — Проблема "язык и мышление" в свете ценностных ориентаций // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.
Фрумкина Р.М. 1990 — О прозрачности естественного языка // Язык и структура знаний. М., 1990.

- Фрумкина Р.М. 1990а — Заметки на полях книги Т. Винограда и Ф. Флореса "Understanding computers and cognition" // Язык и структура знаний. М., 1990.
- Фрумкина Р.М. 1992 — Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога // НТИ. Сер. 2. 1992. № 3.
- Фрумкина Р.М. 1993 — Языковые гештальты и проблема представления знаний // Сб. научных трудов, посвящ. 70-летию М. Янакиева. София, 1993.
- Фрумкина Р.М. 1994 — Размышления на полях новой книги Анны Вежбицкой // НТИ. Сер. 2. 1994. № 4.
- Фрумкина Р.М. 1994а — Науки о человеке и современные концепции развития речи ребенка (аналитический обзор) // НТИ. Сер. 2. 1994. № 7.
- Frumkina R., Mikhejev A. 1994 — Meaning and categorization. N.Y. 1994 (в печати).
- Merton R. 1968 — Social theory and social structure. N.Y., 1968.
- Miller G. 1956 — The magical number seven, plus or minus two // Psychol. review. 1956. V. 63.
- Wierzbicka A. 1972 — Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972.
- Wierzbicka A. 1985 — Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.
- Wierzbicka A. 1988 — The semantics of grammar. Amsterdam, 1988.
- Wierzbicka A. 1992 — Semantics, culture, and cognition. N.Y. — Oxford, 1992.
- Winograd T., Flores F. 1987 — Understanding computers and cognition. Reading, 1987.